

Рецензенты:

Ю.С. Пивоваров, академик РАН, д-р полит. наук, проф.,

А.И. Соловьев, д-р полит. наук, проф.,

А.Ю. Сунгуров, д-р полит. наук

С89 **Суверенитет. Трансформация понятий и практик** : монография / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. сравнит. политологии. — М. : МГИМО-Университет, 2008. — 228 с.

ISBN 978-5-9228-0362-5

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена теоретическому осмыслению тех вызовов, которые глобализация несет государственному суверенитету. Исследуя трансформацию понятий и практик суверенитета в историко-политическом контексте, авторы показывают, что функциональное значение национального суверенитета по-прежнему высоко. Нарастающая взаимозависимость не ведет к его «эрозии», но выдвигает задачу сочетания ориентиров национального и глобального развития и иерархий в мировой системе суверенитета при сохраняющейся разнородности и разнотипности суверенов.

Книга предназначена для широкого круга читателей, готовых к серьезному и обстоятельному обсуждению кардинальных проблем современного развития.

ББК 66.033

ISBN 978-5-9228-0362-5

© Московский государственный институт международных отношений (университет), МИД России, 2008

© Ильин М.В., Кудряшова И.В., предисловие, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
Часть первая	
Концепт суверенитета в прошлом и настоящем	
<i>М.В. Ильин</i>	
Суверенитет: развитие понятийной категории	14
<i>Г.И. Мусихин</i>	
Суверенитет, монархия и революция: история становления и взаимоотношения понятий	43
<i>Е.Н. Роцин</i>	
Суверенитет: особенности формирования понятия в России	58
<i>Я.И. Ваславский</i>	
Носители суверенитета: анализ конституционных документов	92
Часть вторая	
Трансформации суверенитета в современном мире	
<i>Л.Е. Гринин</i>	
Национальный суверенитет в век глобализации	104
<i>И.М. Бусыгина</i>	
Традиционные понятия и новые реалии: суверенитет в Европейском Союзе	129
<i>Е.Г. Пономарева</i>	
Суверенитет новых государств Юго-Восточной Европы: внутренние и внешние вызовы	155
<i>А.В. Абрамов</i>	
Функционализм в государственном строительстве: опыт Боснии и Герцеговины	172
<i>И.В. Кудряшова</i>	
Суверенитет: европейский конструкт в контексте ближневосточных реалий	194

«осколки былого» — политические образования, которые глобализовались лишь частично и по-прежнему опираются на традиционные виды суверенности. Они, скорее всего, останутся «осколками» или «центрами» территориальности, которые будут погружены во всеобщее трансграничное «пограничье» хоритик. Как всякое пограничье, оно будет общим, взаимным и, естественно, глобальным. Сами же традиционные нации-государства смогут выступать в роли субцентров для функциональных замен суверенов.

Нынешние конгломераты родственных или породненных наций, цивилизаций, культур, общин, корпораций, регионов, муниципий и домохозяйств смогут образовать хоритики при условии обеспечения двойной открытости. Это открытость в мир и открытость миру. Чтобы войти в число создателей глобального пограничья, нужно научиться жить в глобализующемся мире, суметь остаться собой в любой части планеты и в любой среде. Одновременно нужно научиться жить с другими в своем собственном доме. Поэтому я бы дополнил перечень ключевых аспектов политики еще одним: создание российского дома, «облучаемого» мировой культурой и многими составляющими ее культурами. Это требование развития «полиглотики»⁴³ в своем доме, чтобы стать мировым полиглотом. Это создание нового качества русскости, качества всечеловечности. Оно нам, вопреки распространенному предрассудку, не гарантировано. Пресловутый «всецеловек» с его небывалой пластичностью — это скорее «недочеловек», утрачивающий свою идентичность под давлением иной среды. Настоящий всецеловек открыт миру, говорит на всех языках, но при этом не только остается сам собой, но становится привлекателен и важен для других. И жить он может не в отдельно взятой деревне, не в отдельном граде, не в границах одного государства, а во всеобщем глобальном пограничье.

⁴³ Ильин М.В. Мировое общение как проблема «полиглотики» // Полис. — М., 1995. — № 1.

СУВЕРЕНИТЕТ, МОНАРХИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Суверенитет — одно из ключевых понятий права, истории и политики всех европейских стран (включая Россию) эпохи Нового времени. На данный момент понятия государства и суверенитета настолько тесно переплетены, что сложно рассматривать суверенитет вне концепции государственности и исторических форм господства. В этих условиях довольно затруднительно обозначить первоначальный смысл суверенитета, выведенный Ж. Боденом.

Отдельную проблему представляет переплетение истории идеи, понятия и слова «суверенитет», так как данное понятие могло обозначаться другими словами: *summum imperium*, *summa potestas*, *maiestas* и т.д.¹

В основе суверенитета лежит латинское *super*, *superus*, от которого образовалось старофранцузское *soverain*, использовавшееся для обозначения превосходной степени. Первое употребление слова *суверенитет* в западно-европейских языках относится к XII веку, но в Германии оно вошло в обиход только в XVII веке из-за преобладания немецкого эквивалента *hoehchst*, с одной стороны, и отсутствия централизованного государства — с другой.

В старофранцузском слово *суверенитет* с XIII века стало обозначать позицию господства. Так, Ф. де Бомануар в 1280–83 гг. назвал короля сувереном, потому что его главенствующее положение в королевстве суверенно².

Но в это время суверенами считались не только короли, но всякий, кто стоял у начала какой-либо цепочки господства

© Мусихин Г.И., 2008

¹ Об истории понятия «суверенитет» см. Dennert J. Ursprung und Begriff der Souveranität. — Stuttgart, 1964; Hinsley F.H. Sovereignty. — L., 1966.

² См. Geschichtliche Grundbegriffe. — Stuttgart, 1990. — Bd. 6. — S. 100.

(например, архиепископ). Т.е. понятие суверенитета еще не обладало эксклюзивностью. Средневековый плюрализм придавал ему партикулярное значение. До Бодена суверенитет оставался «вторичным контекстуально зависимым вспомогательным предикатом»³, который мог и не иметь политического смысла. При этом королевский суверенитет означал границы королевской компетенции, а не абстрактную всеохватывающую королевскую власть.

Суверенитет как исключительное государственное господство выделил только Боден. Его учение стало реакцией на гражданскую войну во Франции, попыткой способствовать установлению межконфессионального мира и разрушенного порядка посредством формулировки правовых оснований для властной монархии. В сущности, он выступил *против множественности господства* во всех его формах: религиозной, ленной, сословной. Вся государственная власть должна была концентрироваться в суверене; если она разделялась, то государь переставал быть сувереном. При этом любые сословия исключались из политического процесса принятия принципиальных, т.е. законодательных, решений. Компетенция законодательства становилась решающим средством развертывания суверенитета, все остальные полномочия суверена были уже следствием этой компетенции. Указывая на законодательную компетенцию, французский философ отмечал независимость от одобрения третьих лиц как вне, так и внутри сферы господства суверена.

Со времен Бодена понятие суверенитета тесно переплетается с понятием монархии. *Суверен* и *монарх* зачастую воспринимаются как слова-синонимы, хотя второе понятие имело собственную логику развития, о чем далее будет сказано более подробно.

Рационалистическое развертывание идей Бодена привело к возникновению проекта абсолютизма, который в наиболее концентрированной форме присутствовал у Т. Гоббса. По его мнению, нарушение сувереном общественного договора, передающего ему исключительную власть, не ведет к ликвидации само-

³ Walther H.G. Imperiales Koenigtum, Konzilianismus und Volkssouveranität. — Muenchen, 1976. — S. 26.

го договора, так как суверен не выступал в качестве одной из сторон при его заключении. Поэтому суверенная власть, с точки зрения Гоббса, ничем не ограничена. Но при этом у подданных есть право на сопротивление, которого Боден не предусматривал.

Однако параллельно развивалось понятие народного суверенитета, связанное с идеей демократии. И Античность, и Новое время, говоря о демократии как форме правления, рассматривали народ как источник неделимой власти. И хотя идея народного суверенитета в XVII веке представляла собой отказ от божественного понимания суверенитета как такового, она все же еще не стала «теорией суверенитета народа в форме свободно волящей общности равноправных граждан государства»⁴. Скорее речь шла о сословно-корпоративном членении народа, в результате чего государеву суверенитету Бодена противопоставлялся сословно-государственный дуализм. Воля народа при этом служила легитимизации разделенного между королем и сословиями господства. В целом возможности существования абсолютного суверенитета государя не препятствовало то, что народ уступил свой суверенитет посредством заключения общественного договора. Так, А.Г. Шлецер писал: «Первоначальная власть зиждется в народе, но он ее однажды передал, он должен был ее передать, потому что как народ был неспособен ее осуществлять; поэтому он не может вернуть ее обратно по своему желанию, даже если это возможно»⁵.

Заключенная в народе суверенная власть могла проявиться только в условиях существования демократической государственности, при этом последняя не получала с необходимостью позитивную оценку. Даже у Дж. Локка верховная власть (supreme power) народа проявлялась только в случае распада государственной власти (dissolution of Government).

Только Ж.-Ж. Руссо дал принципиально иное толкование понятию народного суверенитета. Последний более не выполнял функцию легитимации господства, но превратился в общую волю (volonte generale), которая сама есть высшее политическое

⁴ Die Entstehung des modernen souveränen Staates / Hrsg. v. H.H. Hofmann. — Koeln, Berlin, 1967. — S. 366.

⁵ Geschichtliche Grundbegriffe. — S. 125.

господство. Следовательно, все законы являются не чем иным, как актами этой воли, перманентно самореализующейся в государстве. Руссо сформулировал антитезу как монархическому, так и сословному суверенитету, обосновав ее через договорное политическое и правовое равенство всех людей. Суверенитет проявлялся только через репрезентацию и относился исключительно к народу.

Благодаря руссоистской трактовке народный суверенитет стал ключевым словом конституционного строительства американской и французской революций.

В XIX веке идея народного суверенитета стала главенствующей, однако многие авторы (в частности, Г. Гегель) отрицали возможность непосредственного народного суверенитета. Благодаря этому появилась возможность объединять народный суверенитет с различными формами государства (не только с республикой, но и с монархией). Однако это поставило задачу обоснования соотношения суверенитета и разделения властей. Решая ее, представители немецкой государственной теории права полагали, что народный суверенитет не означает права господства управляемых над управляющими, так как и те и другие есть составные части общей воли. Поэтому народ — источник всякой власти, но он вряд ли может быть источником государственного управления⁶.

Чтобы избежать ассоциации с господством большинства над индивидом, которая неминуемо порождалась понятием «народного суверенитета», в XIX веке в обиход стало внедряться понятие суверенитета нации, которое однозначно подразумевало идею единства более высокого, чем сумма индивидов. Так, в ходе революции 1848 г. в Германии либеральная часть Франкфуртского парламента обосновывала его право на учреждение общегерманской конституции тем, что «призыв к этому и полномочия на это... содержатся в суверенитете нации»⁷. Однако консервативные оппоненты Франкфуртского парламента заявляли, что он был избран не суверенной волей нации, а гражданами на основании уже существующих конституционных принципов, которые

⁶ Цит. по: *Geschichtliche Grundbegriffe*. — S. 132.

⁷ *Ibid.* — S. 132.

предусматривают разделение властей, каждая из которых вправе считать себя олицетворением суверенитета нации⁸.

Таким образом, в ходе XIX века вопрос о соотношении монархии и суверенитета все более заменялся проблемой соотношения конституционализма и народного суверенитета. Суверенитет с точки зрения конституции есть *высшая, но не исключительная* государственная сила, принимающая решения. По конституции Германии 1871 г. монарх имел право вето, и в этом был его суверенитет. К. Шмитт уже в начале XX века попытался разрешить эту двойственность, заявив, что «суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»⁹.

Чтобы ограничить народный суверенитет, Ф. Гизо выдвинул идею суверенитета разума и справедливости, т.е. суверенитета права. Однако эта либеральная трактовка вела к расползанию понятия суверенитета. Для предотвращения подобной негативной тенденции Гегель разработал концепцию государственного суверенитета.

Гегельянская традиция осмысления суверенитета спровоцировала в начале XX века появление теории плюрализма, подвергшей критике исключительный государственный суверенитет. Плюралисты претендовали на создание новой «федералистской теории государства», согласно которой каждое государство «федерально по своей природе» и представляет собой «сообщество сообществ» (*community of communities*). При таком подходе оказывалось, что «суверенитет не единый и неделимый, а множественный и многоклеточный»¹⁰. Один из классиков плюрализма, Г. Ласки, писал: «Мы должны обнаружить истинное понимание суверенитета не в принуждающей власти, пользующейся своими инструментами, но в сплаве доброй воли, для которой эта власть осуществляется... Где торжествует суверенитет, где действует государство, это действие происходит с согласия людей»¹¹. Подобный подход фактически знаменовал собой отказ от

⁸ См. *Radowitz, J. von. Sammelte Schriften*. — Berlin, 1852. — Bd. II.

⁹ *Schmitt C. Politische Theologie*. — Berlin, 1979. — S. 11.

¹⁰ *Barker E. Political Thought in England 1848—1914*. — L., N.-Y., Toronto, 1928. — P. 222.

¹¹ *Laski H.J. Studies of the Problem of Sovereignty*. — L., 1968. — P. 4.

руссоистской идеи неделимого источника власти и проблематизировал исключительность и неприкосновенность государственного суверенитета.

Не менее сложной была трансформация идеи монархии, тесно связанной с понятием суверенитета. В учении о типах государственного устройства Аристотель вычленил монархию на уровне конституирующего понятия и дал ей политико-систематическое осмысление. Его классификация включала рецепцию, но в целом была смягчена проявлявшимся многообразием понятий. Далее понятие развивается через средневековую рецепцию и только после этого посредством определяющего базового критерия развертывания *господства одной личности* осмысливается как единое. Потребность политико-теоретического отделения и отличения полностью проявлялась только через ценностно окрашенные признаки монархической государственности XV—XVIII веков. Перелом конца XVIII века отразился и в истории исследуемого здесь понятия. Тем не менее можно проследить преодолевший этот разрыв континуитет (от *monarchia limitata* до конституционной монархии). При этом исключительное господство одного (*Alleinherrschaft*, самодержавие) конкретизируется разнообразными способами, которые ведут к развертыванию значений и дифференциации различных смыслов понятия. На эту дифференциацию оказывают влияние временной и концептуальной контексты. Поэтому история понятия «монархии» не может быть осмыслена только из себя самой, вне контекста историй других ключевых политических понятий, таких как «государство», «суверенитет», «господство», «власть» и другие.

Слово *μοναρχοῦς* (монархос) в первый раз появилось в VI веке и имело предельно конкретное обозначение тирана¹². В дальнейшем оно стало также использоваться при описании мифических царств и царей, соотносясь со смыслом слова *βασιλευς* (басилевс). В IV веке до н.э. монархия использовалась как понятийная категория, обозначающая как тиранию, так и различные формы царства.

¹² См. Kaerst J. 1898. Studien zur Entseidung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum. — Muenchen, Leipzig, 1898.

Аристотель систематизировал царское господство и тиранию, обозначив обе категории как «монархия» и охарактеризовав царство как форму господства, основанную на законе и свободном согласии, служении и почитании¹³. Он наделил «хорошую» монархию всеми известными в то время положительными качествами, но все же полис и монархия для него несовместимы. Исторически монархия у Аристотеля относится к прошлому, но при этом философ подчеркивал величие и достоинство единоличного господства. Олигархические и монархические формы правления возникают у него из-за большого числа подданных и вследствие отсутствия достаточных средств.

Кроме того, Аристотель различал политическое и царское господство. Последнее есть владение доменом и подобно господству над детьми, т.е. патриархально. Политическое же господство основано на свободе и равенстве свободных¹⁴.

В эллинистический период монархия ассоциировалась в основном с личностью царя как создателя государства по праву победителя или наследника последнего. Царь являлся властелином/владельцем территории и источником права (живой закон). По сути дела это было господство без ответственности.

Древнеримское представление о монархии прошло довольно долгий путь развития, но нас прежде всего интересует понятие «императорской власти». Титул императора имел, по мнению Т. Моммзена, смысл «высшей военной власти, идентифицируясь с персоной ее носителя»¹⁵. Включавшееся в титул имя Цезарь означало личную мистическую преемственность с первым императором; имя второго императора, Август, придавало титулу религиозный смысл. Никакой правовой наполненности императорский «чин» не имел.

Фактически Римская античность не создала собственного монархического права, так как и в годы империи «общее дело» (*res publica*) продолжало существовать. Народ и сенат Рима формально продолжали владеть суверенитетом. Положение собственного всевластия каждый император устанавливал заново.

¹³ Аристотель. Афинская полития. — М., Л., 1936. — 1279а.

¹⁴ Там же. — 1255в, 1259в, 1277в.

¹⁵ Mommsen T. Romisches Staatsrecht. — Leipzig, 1877. — Bd.2/2. — S. 770.

Во времена Средневековья по отношению к монархии использовались как латинские слова *rex, regnum, imperator, princeps*, так и слова из варварских языков *Koenig, Fuerst, King* и др., которые носили отпечаток родоплеменных отношений. Благодаря влиянию римского права и христианской этике понятие монархии стало связываться с понятием закона, т.е. происходило разделение смысла слов *монархия* и *тирания*, хотя благодаря влиянию варварских языков полного размежевания не произошло.

Сам термин *монархия* первоначально относился к Священной Римской империи. При этом имперскому пониманию монархии противостояло папское, т.е. в документах Святого престола господство Папы тоже обозначалось как монархия. Следовательно, одним из смыслов исследуемого нами понятия в Средние века был следующий: монархия означала не любое исключительное господство одного, а только господство императора и Папы. Только с течением времени термин *монархия* стал отождествляться с королями как единоличными носителями верховной власти. Таким образом, *монархия* и *королевство* никогда не были словами-синонимами. Империя стала образцом монархии; со временем, соотносясь с образцом, монархами стали называть и королей, и принцев, и князей.

Можно утверждать, что конкретное обозначение казусов монархического господства в Средние века было чрезвычайно разнообразным. Но параллельно с этим шел процесс соотнесения монархии с господствовавшим в этот период образом мира. Категория единства была космическим принципом Средневековья, так как все сущее было ориентировано на единого и неделимого Бога. Соответственно формы человеческой общности и господства получили в монархии наилучшее воплощение. Т.е. не столько правовая система трактовала монархию как исключительное господство одного (так как феодализм — это система различных правовых систем), сколько господствовавший образ мира.

Правовая составляющая понятия монархии разворачивается в полной мере уже в Новое время (главным образом, через договорную теорию и теорию суверенитета). С одной стороны, это ограничивало господство монарха, с другой — договорная составляющая использовалась самими монархами для упрочения своей власти, так как при помощи договора монарх становился

носителем суверенитета, а также источником права в государстве. Однако это была «пиррова победа», потому что поднятая просветителями (особенно Руссо) проблема народного суверенитета поставила под сомнение монархический источник власти и права.

В результате к концу XVIII века понятие монархии превратилось в сложное комплексное образование, где сочетались патриархальные, религиозные, договорные и правовые элементы. Поэтому устойчивость такого понятия была ситуативной, что и доказал революционный взрыв 1789 г. После этого момента начался своеобразный «спор суверенитетов», монархического и революционного, апеллировавшего к воле народа (о трансформации понятия «революции» будет сказано позднее).

XIX век добавил в смысловое содержание монархии новые элементы, превратив ее в *партийно-политическое понятие*, приобретшее оборонительные функции под названием «монархического принципа», который противостоял «республиканскому принципу». Именно в борьбе этих двух начал произошло становление конституционной или представительной монархии. Однако позитивное значение становления конституционной монархии «смазывалось» упоминавшейся выше идеологизацией базового понятия. Так, в качестве аргумента в борьбе с либеральным конституционализмом Л. фон Штайн создал концепцию социальной монархии как средства преодоления классовых борьбы.

Преодоление идеологизированного отношения произошло только после катаклизмов начала XX века, которые привели к исчезновению большинства европейских монархий. Компромисс в отношении монархии был достигнут на почве веберовской теории легально-рациональной легитимности, которая по сути, была возрождением кантовского подхода к формам правления. В свое время И. Кант возражал Руссо, утверждая, что способ правления народа более важен, чем форма государства. Немецкий философ создал новую модально-структурную дихотомию государства, заявив, что *структура господства не играет исключительного принципиального значения*. Для Канта монархия может быть республиканской, а демократия может быть деспотичной. Следовательно, структура господства может быть нейтральной. Более того, монархия и аристократия дает *возможность* для существования республики, в то время как структура

последовательного демократического господства деспотична с необходимостью.

В данном утверждении по сути содержалось обвинение революции в нелегитимности, а следовательно, в необоснованности притязаний революционных сил на суверенитет нации. Однако само понятие «революции» было не столь однозначным, как представлялось ее сторонникам и ее противникам.

Существует мало слов, которые были бы так широко распространены и столь неоспоримо относились бы к современному политическому словарю, как *революция*. Последнее относится к тем выразительным словам, чья сфера применения так широка, а понятийная неясность настолько велика, что его можно было бы определить как предметную рубрику, с одной стороны, и лозунг — с другой. Ясно, что значение революции состоит не в возможности ее лозунгового употребления и способности быть предметной рубрикой. В гораздо большей степени индикаторами революции являются как переворот или гражданская война, так и длительные изменения, т.е. результаты, события и структуры, которые глубоко укоренились в нашей жизни, изменив ее. Однако лозунговая повсеместность революции и в то же время ее очень конкретный смысл тесно между собой переплетены. В результате смысл понятия нередко сложно выявить из-за его очевидности. Например, очень часто можно слышать о постиндустриальной революции, в то время как историческая наука до сих пор спорит о начале и типических чертах индустриальной революции. Кроме того, существовали различные программы мировой революции Маркса, Ленина, Мао; последний выдвинул также идею мировой революции. Но при этом все понимают, о чем идет речь, и не смешивают различные понятия.

Это означает, что смысловое содержание слова *революция* неоднозначно. Оно варьируется от кровавого политического и разрушительного социального движения до научно понимаемого обновления. Оно может включать в себя одновременно все, но только при отрицании другого. Так, успешная техническая революция предполагает минимальную стабильность, которую вначале отрицает социально-политическая революция, хотя последняя и предусматривает осуществление первой в качестве одного из своих элементов.

Таким образом, понятие «революция» может быть определено как эластичное общее понятие, которое повсеместно опирается на своеобразное пред-понимание, интерпретация которого приобретает специфический смысл в зависимости от страны или политического лагеря. При этом само слово *революция* имеет такую внутреннюю «революционную» силу, что его может понять любой человек.

Можно утверждать, что понятие «революция» есть языковой продукт Нового времени, поэтому данный период можно назвать эпохой революций. По поводу того, в чем при этом состоит разница между политической, социальной или экономической революцией, общее представление было достигнуто еще с предшествующего века, но только со времен Великой французской революции выражение *революция* получило амбивалентное значение.

В 1842 г. французский ученый Б. Оро (Haugeau) сделал примечательное наблюдение, напомнив, что термин *революция* означает, собственно, возврат, виток, который в латинском языковом употреблении ведет к возврату в исходный пункт движения¹⁶. Т.е. первоначально семантический смысл слова *революция* означал круговое движение форм правления, обоснованное еще Аристотелем, Полибием и их последователями. Но в Новое время, и особенно после 1789 г., этот смысл изменился фактически до неузнаваемости.

Согласно античному учению существовало ограниченное число форм правления, которые сменяли друг друга, но не могли быть преодолены естественным образом. Смысловое значение античной модели революции означало, что все формы политической совместной жизни, в конце концов, ограничены. Каждый перелом вел к уже известному способу господства, и люди, таким образом, были обречены оставаться в этом круговороте, разорвать его было невозможно. Т.е. создание чего-либо принципиально нового в политической сфере считалось немыслимым.

Это квазиестественное представление о революции господствовало еще в XVII веке. Революция представлялась «физиче-

¹⁶ См. Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. — F.a.M., 1989. — S. 69.

ски-политическим» понятием¹⁷. Как звезды независимы в своем движении от смертного человека, но одновременно влияют на него или даже детерминируют его (по утверждению астрологов), так и революция в XVII веке приобрела двойной смысл: она разворачивалась над головами участников, но каждый, захваченный ее движением, оставался, как Валленштейн, во власти ее законов. Так, Гоббс писал об английской революции: «Я вижу в этой революции круговое движение, от абсолютной монархии через «долгий парламент» к «охвостью», диктатуре Кромвеля и обратно через промежуточную олигархическую стадию к монархии Карла II¹⁸. Т.е. целью двадцатилетней революции была реставрация.

При этом революция в XVII-XVIII веках не ассоциировалась с кровавой борьбой. Последняя выражалась словами *guerre civile* и *civil war*. Значение последнего понятия было очень эклектичным и определялось сословным характером общественного устройства. Сущность и форма правления могли сохраняться, но само социальное здание подвергалось непосредственному воздействию гражданской войны, правовой и конфессиональный титул которой происходил от сословного права на сопротивление. Старые гражданские войны оставались войнами сословно организованных граждан. Если рассматривать Тридцатилетнюю войну как гражданскую, то это было противостояние протестантских имперских сословий и императорской партии.

Если обобщить различия в понимании гражданской войны и революции, которые наблюдались до XVIII века, следует отметить, что гражданская война ассоциировалась с любыми массовыми кровавыми столкновениями, право на которые обосновывалось сословно или конфессионально. Антитезой гражданской войне было государство, которое монополизировало право войны. Революция как изначально природное/естественное трансисторическое явление представлялась в метафорике длительных процессов, заканчивающихся стремительными политическими результатами, т.е. в метафорике *переворота*, а не *разрыва*. При этом она могла содержать или не содержать в себе момент

¹⁷ См. Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. — Ф.а.М., 1989. — С. 71.

¹⁸ Там же. — С. 73.

гражданской войны. Французский академический словарь 1694 г. трактовал политическую революцию как повторение конституционных форм, сменяющих друг друга. Социальное волнение и возмущение понимались как мятеж.

Социальная эмансипация стала рассматриваться как революционный процесс только в XVIII веке. Следует отметить, что Просвещение сделало революцию модным словом. Все, что можно было увидеть и описать, стало рассматриваться с точки зрения изменения и переворота. Революцию соотносили с правом, нравами, религиями, экономикой, государством и т.д. Первоначальное природное и трансисторическое понятие получило параллельное метафорическое значение: им охватывалось все и вся. Благодаря своему естественному основанию оно стало актуальностью повседневности.

Политическое понимание нового смысла революции состояло в том, что оно стилизовалось как противоположное понятие по отношению к гражданской войне. Последняя трактовалась просвещенными сторонниками мира как творение фанатичных религиозных партий, которое несовместимо с цивилизованным сообществом. Немецкий просветитель М. Виланд в 1788 г. писал: «Современное состояние Европы представляет собой благотворную революцию — революцию, которая осуществляется не через дикие мятежи и гражданские войны»¹⁹. Эмпирическим подтверждением такого оптимизма служила бескровная «славная революция» в Англии 1688 г.

Таким образом, революция стала трактоваться как явление, позволяющее вырваться из порочного круга гражданских войн и мятежей и открыть новые горизонты. Просвещение объявило гражданские войны исторически преодоленным явлением. Так, энциклопедисты подразделили войну на восемь рубрик, среди которых понятие «гражданская война» отсутствовало, т.е. последняя не рассматривалась более как возможная.

Параллельно с этим процессом значение революции и надежды, связанные с ней, росли, способствуя будущему прорыву 1789 г.

Однако были и те, кто предсказывал гражданскую войну под маской сияющей революции. Лейбниц был первым, кто в 1704 г.

¹⁹ См. Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. — Ф.а.М., 1989. — С. 74–75.

с достаточной ясностью обозначил кровавый характер грядущей «revolution generale» в Европе²⁰.

Революция 1789 г. стала знаковой для развития данного понятия, так как после нее прежнее понимание не могло сохраниться. Произошло дальнейшее утверждение смысла революции как коллективного единства: все в этом мире есть революция. Метафорическое понимание естественного происхождения революции было преодолено, и она стала означать, в первую очередь, переломное событие, устанавливающее новый исторический порядок от имени народа, являющегося исключительным источником суверенитета.

Уже в XIX веке обозначилась конвергенция понятий «революция» и «реформа». Последняя стала трактоваться как «революция сверху», осуществляемая для того, чтобы не допустить «революции снизу».

Революция приобрела новый историко-философский смысл: она стала явлением, ведущим к *необратимым* историческим последствиям. Понятия «революция» и «эволюция» оказались антитезами, приняв идеологизированный партийный характер. Углубление революционных преобразований привело к возникновению представлений о переходе революции политической в революцию социальную. То, что всякое политическое изменение имеет социальные последствия, не было новостью; новым стало то, что целью политической революции стала социальная эмансипация всех людей и преобразование структуры общества как такового. Х.-М. Виланд в 1794 г. отмечал, что цель якобинцев — сделать из Французской революции «социальную революцию, переворот всех ныне существующих государственных форм»²¹. После революции 1830 г. А. де Токвиль, фон Штайн, И. Радович писали о начале перехода от политических революций к социальным. Последние стали трактоваться как наиболее глубокие перемены в жизни общества. По словам Гейне, «писатель, который будет способствовать социальной революции, всегда может обогнать свое время на столетие; трибун, который

²⁰ Leibniz. Philosophische Schriften. — Darmstadt, 1961. — Bd. 3/2. — S. 504.

²¹ Koselleck R. Op. cit. — S. 79.

призывает политическую революцию, напротив, не может оторваться от масс»²².

И французские, и российские революционеры считали, что их завоевания улучшат положение всех людей, т.е. революция стала трактоваться как всемирное движение, имеющее перманентный характер. Таким образом, возникло представление о мировой революции.

Тотальность революции подняла проблему легитимации ее действий. Реакция и контрреволюция выступали под знаменем восстановления легитимности. Тем самым понятию «революции» охранители стали приписывать развитие в логике гражданской войны, использующей любые средства. В ответ на это сторонники революции, ссылаясь на ее тотальность, утверждали, что она обладает способностью легитимации уже по одному факту своего существования, т.е. революция приобрела титул легитимности «как метаисторическая константа»²³. По сути дела, в представлении революционеров понятия суверенитета и революции поменялись местами. Если в теории революция провозглашалась легитимной, так как была выражением суверенной воли народа, то на практике революционные вожди зачастую диктовали народу, что должна желать его суверенная воля.

Таким образом, все три рассматривавшиеся в данной статье понятия тесно переплетались друг с другом; их сторонники, зачастую находясь в непримиримом противостоянии, для усиления собственной значимости апеллировали к одним и тем же терминам, вкладывая в них совершенно разный смысл. При этом все были правы, и все ошибались, так как каждое из рассмотренных здесь понятий — комплексное явление, прошедшее длительную историю развития.

²² Koselleck R. Op. cit. — S. 79–80.

²³ Tetsch H. Die permanente Revolution. — Opladen, 1973. — S. 11.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамов Алексей Владимирович — кандидат политических наук, третий секретарь Третьего европейского департамента МИД России.

Бусыгина Ирина Марковна — доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД России, директор Центра региональных политических исследований НКСМИ МГИМО(У) МИД России.

Ваславский Ян Ильич — аспирант кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД России.

Гринин Леонид Ефимович — доктор философских наук, главный научный сотрудник Волгоградского центра социальных исследований, заместитель главного редактора журнала «История и современность».

Ильин Михаил Васильевич — доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД России, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Кудряшова Ирина Владимировна — кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД России, старший научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН.

Мусихин Глеб Иванович — доктор политических наук, профессор факультета прикладной политологии ГУ – Высшая школа экономики.

Пономарева Елена Георгиевна — кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД России, старший научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН.

Роцин Евгений Николаевич — исследователь Европейского университета в Санкт-Петербурге.